

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

ГЛАВА 21. “ОБРЕТЕНИЕ ВОСТОКА”

Вытегоры вспоминали, что Клюев (они называли его преимущественно по фамилии) собирал толпы на своих выступлениях – будь это концерт или митинг. На него “народ валил валом” и, конечно, каждая его речь, будь это городская площадь или собрание в небольшом зальчике, тут же эхом отзвучивалась по всему городу.

– Истина победила! Вера и мысль освобождают порабождённых! Да здравствует Революция!

Кто только из ораторов ни произносил тогда подобных слов... Но клюевское выступление на новогоднем собрании коммунистов в начале 1920 года воспринималось по-особому. Потому что – Клюев!

“Битком набит зал, пламенные речи ораторов, неизменно заканчивавшиеся революционными гимнами в исполнении духового оркестра, подлинное внимание аудитории и жуткие картины расправ обнаглевшей версальской буржуазной своры над безоружной 30-тысячной толпой коммунаров, их жён и детей – всё это создавало поистине трогательную картину отдачи вытегорами должной дани трагическому эпизоду из борьбы французского рабочего с господствующим классом... Митинг закончился вдохновенным словом поэта Н. А. Клюева о Коммуне”.

Так “Звезда Вытегры” сообщала о праздновании “Дня Парижской коммуны”... И проходит лишь несколько дней – та же газета извещает уже о другом собрании – об уездной конференции вытегорских коммунистов, ни один из которых, разумеется, не мог пройти мимо этого знаменательного события. Слишком ответственный вопрос стоял в повестке дня.

“Об оставлении поэта Клюева в Партии”.

Со всей остротой он встал именно после публикации “Слова о ценностях народного искусства”. А тут ещё как нельзя более “вовремя” та же “Звезда Вытегры” публикует стихотворное посвящение горячей клюевской поклонницы еще с предреволюционных лет Зои Бухаровой, обращённое не только к любимому поэту, но и к “слепым на правый глаз свой”, как назвал Клюев современников в “Огненной грамоте”.

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3 за 2011 год.

*Вместить ли Слово тайны древней
Опустошённой душой?!
О, сын земли, о, сын деревни —
За нас ли крест подъямешь свой?..*

*Ты, как Давид, прозреньем светел,
Как Русь — в распятыи терпелив,
Но воскресеньем кто ответил
На благодатный твой призыв?*

... В конечном счёте, на этом собрании в миниатюре разыгрался эпизод уже валом катившейся по России борьбы между революцией русской и православной и революцией антирусской и атеистической — при том, что сплошь и рядом по разные стороны этих незримых баррикад находились русские люди.

“... Тов. Кривоносов сообщает конференции, что при последней перерегистрации членов партии возник вопрос о религиозности члена партии т. Клюева, а именно было заявлено, что т. Клюев человек религиозный, бывает в церкви, прикладывается к иконам...”

Понятно, что без доноса не обошлось. И не так уж важно сейчас — кто и в каких выражениях первым дал понять, что поэту, верующему в Бога, не место в партии. “Т. Кривоносов оглашает циркулярное письмо Губкома от 2 марта о неприятии в партию религиозных людей”... Дело уже касалось не только персонально Клюева, который получил приглашение на конференцию за три часа до собрания. Единственно, чем мог ответить поэт — огласить своё слово “Лицо коммуниста”, написанное одновременно с “Самоцветной кровью” для так и не изданной книги “Золотое письмо к братьям-коммунистам”.

К сожалению, текст этого выступления нам известен лишь в газетном пересказе, впрочем, по-своему красочном.

“С присущей ему образностью и силой оратор выявил цельный и благородный тип идеального коммунара, в котором воплощаются все лучшие заветы гуманности и общечеловечности.

Любовь как брак с жизнью, мужественные поступки, смелость мысли, ясность взора, бодрая жизнерадостность — таков лик коммуниста, сближающий его отчасти с мучениками и героями великих религий на заре их основания. С другой стороны, в отличие от фанатиков религии, коммунары более смотрят на землю, чем на небеса, борются с житейской грязью, подхалимством и лицемерием.

При таких свойствах творческая работа коммунистов не останется втуне, и поэт, предчувствуя грядущее в мир царство свободы, где нет ни рабов, ни меча, ни позорных столбов, доказал собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными чувствованиями, ибо слишком много точек соприкосновения в учении коммуны с народной верою в торжество лучших начал человеческой души...”

В ответ собравшиеся товарищи заявили, что произнесённое слово “не может служить ответом” по существу вопроса о религиозных убеждениях Клюева, и поэт должен более определённо ответить на поставленный перед ним вопрос.

Клюев не собирался ничего скрывать. Его религия — особенная. Он не православный (имел в виду новоправославие), не католик, не магометанин. В церковь он ходит как исследователь-поэт. Но какова особенность его религии... Всё им было написано и представлено духовно слепым его судьям: и “Красный конь”, и “Огненное восхищение”, и “Сорок два гвоздя” — слово о “Христовой плоти — плоти народной, всерусской, всечеловеческой”. На вопрос: “Верит ли он в загробную жизнь и в сверхъестественное?” — ответил, что согласен со всей программой партии, а дальнейшее разъяснение своей веры считает равносильным публичному раздеванию... Спокойствие, убеждённость в своей правоте и красочная самоцветная речь произвели неизгладимое впечатление на собравшихся, и судьи тут же сбавили тон. В их собственных последующих репликах слышна была неуверенность, ощутимо было колебание и неустойчивость. “Тов. Гершанович Д., находя, что тов. Клюев крупный всероссийский поэт, что в поднятом вопросе столкнулись две идеологии — мистическая и материалистическая, что решение вопроса имеет принци-

альное значение, что тов. Клюев при своей религиозности всё-таки полезен партии, полагает необходимым перенести вопрос об утверждении тов. Ключева на обсуждение высшей партийной организации. Тов. Кривоносов полагает, что т. Клюев достаточно объяснил свои религиозные убеждения, которые имеют совершенно особый характер, его религия особая, это может быть вера в грядущее царство социализма, свободы и т. д., но не вера в предрассудки... (тут грозный товарищ уже волей-неволей стал подыгрывать Ключеву! — С. К.) ...Т. Кривоносов делает вывод, что тов. Клюев может быть членом партии и вопрос об утверждении его членом партии следует поставить на голосование...”

Голосованием (25 голосов против 12) кандидатура Ключева в партии была утверждена. При этом ему самому было заявлено, “что в церковь он может и не ходить”.

Корреспондент газеты счёл необходимым подчеркнуть, что ключевский доклад “был заслушан в жуткой тишине и произвёл глубокое потрясающее впечатление”, что “конференция, поражённая доводами Ключева, ослепительным красным светом, брызжущим из каждого слова поэта, братски высказалась за ценность поэта для партии”, — и в конце уже явно сравнил Ключева с Яном Гусом, а конференцию — с Констанцским собором: “Наш родной поэт, песнослов коммуны и светлый брат трудящихся, несмотря на Констанцкий собор, так обидно над ним učinённый, не покинул своих красных братьев. Иначе и быть не могло”...

Но совершенно иначе расценил происшедшее всё тот же “главный вопрошающий”, председатель уездной партконференции т. Кривоносов, явно недовольный заметкой “Поэт и коммунизм”: “Автор между прочим пишет, — с некоей обидой замечает товарищ, — что т. Клюев доказал собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными чувствами. Тов. Клюев не доказал, — ибо и не доказывал. В своём докладе он лишь доказывал, что коммунист должен с уважением относиться к религиозным настроениям других, понимая под “религиозными настроениями” не веру в Бога, как его обычно понимают, не веру в загробную жизнь и какие-то сверхъестественные силы, а вкладывая в это слово совершенно иной смысл.

Скажу больше, не поэт “доказал” собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными настроениями, а собрание доказало поэту, что коммунисту не пристало ходить в церковь, молиться и прикладываться к иконам...”

Далее автор пишет, что меньшинство отстаивало недопустимость для коммуниста духовных настроений (веры в Бога, в загробную жизнь, в сверхъестественные силы). А большинство признавало? Сам автор не скажет, что да... Нужно сказать, что ни меньшинство, ни большинство не отрицали нужность поэта для партии.

Кончает автор сетованием на то, что организация учинила над т. Ключевым “обидный Констанцкий собор”. Не говоря уже о том, что партия в любой момент может требовать объяснений от своих членов их поступков, мне кажется, если б автор заметки “Поэт и коммунизм” учёл те толки, какие ходили в обывательской среде по поводу хождения т. Ключева в церковь, а также как трудно бороться с религиозными предрассудками, то он не сказал бы этого”.

Обсуждение же происшедшего “высшей партийной организацией” через несколько месяцев закончилось, в общем-то, ожидаемо. Постановлением Губкома РКП от 28 апреля Клюев был исключён из партии, “так как религиозные убеждения его находятся в полном противоречии с материалистической идеологией партии и её задачами в деле борьбы за освобождение рабочего класса”.

Редакция петрозаводской “Олонецкой коммуны”, приведя это сообщение, сочла необходимым снабдить его следующим примечанием: “Н. А. Клюев, известный поэт; при своём своём сочувствии к коммунизму Клюев является христианином-мистиком и ретиво выполняет все обряды православной церкви”.

“Толки”, ходившие про Ключева в “обывательской среде” и не только в ней, докатились и до наших времён. Бывший чекист Н. Пелевин уже в конце 1950-х годов рассказывал ленинградскому литературоведу Л. Когану, что Клюев, “елейный и подхалимистый” — “собирал всяческими способами иконы, особенно старые, и, как потом выяснилось, торговал ими. Его, конечно, вскоре исключили из партии”. То, что Клюев собирал старые иконы, сам реставрировал их, спасая “ценности народного искусства”, знали многие выте-

горы. Но ни о какой “торговле” речи не было – ценнейшие творения иконописи Николай станет предлагать на продажу своим близким друзьям и знакомым гораздо позже, испытывая тяжелейшие материальные лишения, будучи фактически выброшенным из литературы, когда редкие публикации не давали средств, необходимых для жизни.

“Судилище”, предшествовавшее исключению из партии, сам Ключев воспринял, скорее, не как “Констанцкий собор”, а как полемику новообрядческого монаха Неофита с насельниками выговской староверческой общины и с их духовным главой Андреем Денисовым, автором великих “Поморских ответов”. Не из партии его исключили – новый мир отторг его от себя.

Но так ли чужд был по сути этот новый мир христианским заповедям? Ответ на этот вопрос дал через несколько лет митрополит Сергей (Страгородский) в послании к созыву Поместного Собора Православной Церкви.

“Что этот строй не только не противен христианству, – писал о. Сергей, – но и желателен для него более всякого другого, это показывают первые шаги христианства в мире, когда оно, может быть, ещё не ясно представляя себе своего мирового масштаба, на практике не встречая необходимости в каких-либо компромиссах, применяло свои принципы к устройству внешней жизни первой христианской общины в Иерусалиме: тогда никто ничего не считал своим, а всё было у всех общее (Деян. IV, 32)... Борьба с коммунизмом и защита собственности нашими церковными деятелями и писателями в прежнее, дореволюционное время, по моему мнению, объясняется причинами для церкви внешними и случайными... Очень многие писали и говорили против коммунизма просто по привычке к своей, так сказать, государственности, по привычке на всё смотреть больше с государственной, чем с церковной точки зрения... Полемизируя с сектантами, из которых некоторые отрицают собственность, с Толстым, и не желая оставить необличённым ни одного заблуждения, наши миссионеры и писатели часто простирались по внедрению дальше, чем следовало, и начинали обличать то, что обличению не подлежало и что обличать не входило ни в интересы, ни в задачу Православной Церкви. Наконец, значительную, можно даже сказать, львиную долю в этом недоразумении должна принять на себя и наша духовно-академическая наука, шедшая и в данном вопросе, как и во многих других, на буксире богословской науки западноевропейской, в особенности протестантской...”

Дальнейшие же слова о. Сергия могли бы найти самый живой отклик у Ключева – будь они известны поэту.

“Я убеждён, что Православная наша церковь своими “уставными чтениями” из отцов церкви, где собственность подчас называлась, не обвиняясь, кражей, своими прологами, житиями святых, содержанием своих богослужбных текстов, наконец, “духовными стихами”, которые распевались около храмов нищими и составляли народный пересказ этого церковно-книжного учения, всем этим церковь в значительной степени участвовала в выработке... антибуржуазного идеала, свойственного русскому народу. Допустим, что церковное учение падало уже на готовую почву, или что русская, по-западному некультурная, душа уже и сама по себе склонна была к такому идеалу и только выбирала из церковной проповеди наиболее себе сродное, конгениальное... Впоследствии, в эпоху послепетровскую, с появлением латинской богословской науки, древлеправославная книжность была выброшена сначала из нашей духовной школы и перестала участвовать в воспитании духовного юношества, будущих пастырей церкви, а потом постепенно вышла и из повседневного церковного употребления, почти совсем была удалена и от воспитания народа, сохранившись разве у каких-нибудь деревенских грамотеев да отчасти в наиболее строгих монастырях и у единоверцев с старообрядцами-раскольниками... Такой разрыв нашей духовной науки и школы с прошлым был одной из причин часто глубокого расхождения народно-церковного мировоззрения с официальным церковным учением и взаимного непонимания обеих сторон. Отсюда, от потери обоюдо упомянутого языка ведут своё происхождение и некоторые сектантские движения, по недоразумению отделявшиеся от официальной церкви и по недоразумению ею же преследовавшиеся. Вот почему и утверждаю, что примириться с коммунизмом как учением только экономическим (совершенно отменяя его религиозное учение) для православной нашей церкви значило бы только возвратиться к своему забытому прошлому, забытому официально, но всё ещё живому и в подлинно цер-

ковной книжности, и в глубине сознания православно-верующего народа. Примириться с коммунизмом государственным, прибавим в заключение, для церкви тем легче, что он, отрицая (практически лишь в известных пределах, хотя это и временно) частную собственность, не только оставляет собственность государственную или общенародную, но и карает всякое недозволенное пользование тем, что лично мне не принадлежит. Заповедь “не укради” остаётся основным положением и советского уголовного кодекса. Христианство же заинтересовано не тем, чтобы обеспечить христианину право на владение его собственностью, а тем, чтобы предостеречь его от покушений на чужую собственность...”

Эта проповедь нестяжательства, тем более актуальная и по сей день, не могла не быть близка Ключеву, который ещё в первый год революции услышал “Нила Сорского глас”, отрицающий и мир, построенный на несправедливо нажитом:

*Низвергайте царства и престолы,
Вес неправый, меру и чеканку..,*

и то “религиозное учение” мира нового, что оправдывает кощунства над святынями:

*Не голите лишь у Иверской подошвы,
Просфору не чтите за баранку.*

А ведь с самого начала революции проповедь нестяжательства шла с кощунством рука об руку. И разрешить эту дилемму не представлялось возможным.

* * *

Жизнь Ключева в Вытегре в эти годы вообще полна противоречий.

Любимец и народный авторитет у местного населения, до последнего времени остававшийся “боевой единицей” в глазах местного Совета, он, судя по стихам, совершенно не жаловал ни своё окружение, ни саму атмосферу провинциального городка. “Глухая Вытегра не слышит урагана, сонливая, с сорочьим языком, она от клеветы и глупых сплетен пьяна...” “Глухомань северного бревенчатого городишка, где революция как именины у протопопа. Ряд обжорный и каланчи вышка ждут антихриста, сивушного потопа... Где же Свобода в венке из барбариса и Равенство – королевич прекрасный?...” Ураган “глухая Вытегра” не просто услышала, её этот ураган сотряс, как любую отдалённую провинцию 1919–1921 годов. Но Ключев видел вокруг застоявшееся мещанское болото, пожинаящее плоды иной, не лелеемой Николаем, революции.

Даже его неистовые поклонники, молодые поэты Александр Богданов и Сергей Ручьёв, посвящавшие ему свои стихи (и Ключев посвящал стихи тому же Богданову) или принимавшие от него посильную и бескорыстную помощь в литературной обработке своих произведений и слушавшие его добрые и взыскательные замечания и советы, Павел Спасибенко или Чумбаров-Лучинский – все они держались от него на расстоянии... После изгнания из РКП(б) он вообще отстранился от окружающих, ограничив своё общение с единственным оставшимся другом – сотрудником “Звезды Вытегры”, переименованной в “Трудовое слово”, Николаем Ильичём Архиповым. Уже гораздо реже, чем прежде, отдавая в печать стихи, полностью перестал выступать со своей огненной публицистикой – ограничился театральными рецензиями и короткими заметками анонимного характера.

“Искусство – это корни жизни, та драгоценная капля, в которой отражается Красное Солнце истории, сердце родного народа. К ужасу и возмущению, мы узнаём, что какие-то развязные молодые люди устроили мепблирашки в нежном, овеванном поэзией XVIII века доме купцов Маниных, предназначенном стать музеем, тихим пристанищем всего, что было прекрасного в былой России, всего, в чём запечатлены пути народного Духа”.

“Слишком дорого приходится расплачиваться нашей революции за вольное и невольное попрание родной красоты, которого никогда не простит народ, и которое никогда не останется неотомщённым”.

Крепости его духа и убеждений можно лишь поразиться при том, что “общественный” остракизм наложился на остракизм “семейный”.

“Не ледящий и не путящий” Николка, о котором с сожалеющей интонацией говорила его матушка Прасковья, в устах сестры вовсе превратился в “никчёмного человека”. Понятно, что ей, швее, содержать родного брата, известного всей Вытегре, но перебивавшегося на жалкие гроши с газетных гонораров (если они были), и затруднительно, и психологически неумоготу.

То и дело приходилось слышать от сестры:

– У тебя ни семьи, ничего! Вот когда женишься – тогда другое дело. А пока – пошёл вон!

И куда же ему было идти?

Сестре вторил и старший брат – Пётр.

– Бездельник, ничего не делаешь, только пишешь какие-то бумажки!

Не первый и не последний оказывался Николай в подобной ситуации. Но его родные поистине однажды перешли грань.

Об этом Клюев напишет в письме к Есенину в январе 1922 года:

“Сестра и зять... обокрали меня; я уезжал в Белозерский уезд, они вырезали замок в келье, взломали дубовый кованый сундук и выкрали всё, что было мною приобретено за 15-ть лет, – теперь я нищий, оборванный, изнемогающий от постоянного недоедания полустарик. Гражданского пайка лишён, средств для прожития никаких. Я целые месяцы сижу на хлебе пополам с соломой, запивая его кипятком, бессчётные ночи плачу один-одинёшенек и прошу Бога только о непостыдной и мирной смерти”.

*Воры в келье: сестра и зять
С отмычкой от маминой укладки.
Как же мне не рыдать
Ввечеру при старой лампадке?!*

.....
*Леденеет моё перо,
И кудрявятся вьюгой строки,
Милосердие, жертва, добро —
Только сон голубой далёкий.*

Настоящее становится чем дальше – тем безрадостнее. Одно упование – на грядущее. И прозрения Клюева, посещающие его и воплощающиеся в поэтическом слове, не имеют аналогов ни в русской, ни в мировой поэзии.

* * *

Книга “Львиный хлеб”, сложившаяся к концу 1921 года – гениальный прорыв в будущее: провидение судеб России, определение магистрального пути её грядущего развития.

В процессе её создания открывался совершенно новый способ творческого мышления, рождался новый творческий метод, недоступный другим художникам слова ни тогда, ни тем более в настоящее время. Клюев открывал возможность движения внутри самого слова – именно внутреннего движения слова посредством “образо-созвучия”, что позволило раскрыть внутри слова движение смыслов. И лишь горькая улыбка могла промелькнуть на его губах, когда он читал в “Известиях” характеристику своей поэзии, как “мало ценной”, потому что поэт якобы “в неизмеримо большей степени является певцом былой статики, чем поступательной динамики мирового размаха”. Ответ на подобную инвективу мог быть лишь один: “Невнятно “Известиям” дымкой овиной повитое Слово, как сфинкса лицо”... “Россия – Сфинкс” – вспоминается Блок. Но у Клюева сама грядущая Россия, смотрящая сфинксом в лица современников и потомков из его строк, отождествляется со Словом поэта.

“Львиный хлеб – это, в конце концов – судьба Запада и Востока.

Россия примет Восток, потому что она сама Восток, но не будет уже для Европы щитом.

Вот это обретение родиной-Русью своей изначальной родины – Востока и есть Львиный хлеб”.

Так объяснял Ключев смысл словосочетания, положенного в название новой книги, Николаю Архипову.

Очевидная отсылка к блоковским “Скифам” в этих словах (“Но сами мы – отныне вам не щит, Отныне в бой не вступим сами... В последний раз – на светлый братский пир сзывает варварская лира!..”) становится не столь очевидной, если мы обратимся к стихам 1919–1921 годов, где символический “Восток” будет складываться из многих смысловых наслоений.

Василий Осипович Ключевский в работе “Западное влияние и церковный раскол в России” привёл слова из старообрядческого жития пустынника Кирилла, подвизавшегося в Олонецком крае на реке Суне, жития, безусловно, известного Ключеву: “О немилостевого лияния крови дражайших чад твоих, Сионе! Не к тому проповедашася восточный закон благодатный, но западный, ратный, всюду бо мучительства меч играше, вся темницы во граде и в селех наполнишася христиан, – проповедницы западных новин яростию, а не кротостию дышаху, биением и ранами, а не учением увещеваху”. Цитату эту Ключевский снабдил собственным примечанием: “Культуры русская и западноевропейская были в ту пору (т. е. в половине XVII в.) очень несоизмеримые величины, не только неодинаковые уровни развития, но и различные понимания смысла и целей бытия... В мирном международном сближении старообрядцу чудилась опасная встреча двух враждебных исторических миров, в которых он подозревал противоположные склады быта, непримиримые житейские принципы”.

Иван Кириллов в книге “Правда старой веры”, писавшейся во время Первой мировой войны и изданной в 1916 году, также прекрасно известной Ключеву, по-своему прокомментировал слова Ключевского:

“Почему же старообрядцу “чудилось”, т. е. ошибочно представлялось, если и сам же В. О. Ключевский держится аналогичного взгляда?! Война 1914 г., до которой, к сожалению, не дожил наш историк, явилась бы лишним и ужасным доказательством того, что ни старообрядец XVII в., ни историк XX в. не ошибались, усматривая принципиальную разницу между культурами Востока и Запада...”

Ключев же всё более и более осознавал свою творческую сверхзадачу как преодоление пропасти, разверзшейся в XVII столетии и всё углубляющейся и увеличивающейся из века в век... Загадку невозможности разрешения её он находил у Николая Фёдорова, писавшего в “Философии общего дела”:

“Нет вражды вечной, устранение же вражды временной составляет нашу задачу. России остаётся на выбор: 1) или примирить Европу и Азию, Запад и Восток (ближний и дальний), и примирить не теоретически только, как это сделал Константинополь, но и практически, устраняя причины к раздору; 2) или же самой разложиться на Азию и Европу. Даже и замечено уже было, что народ в России уйдёт в раскол, а верхние слои обратятся в католическое суеверие или в протестантское неверие...”

Революция подарила надежду на преодоление раскола, но с каждым днём эту же надежду губила, ибо во всей повседневности, в каждом прожитом часе ощущалось и осмысливалось наступление железной западной пяты, губящей естество и красоту русской жизни.

“Дом, разделившийся в себе, не устоит...” Дом раскалывался изнутри, и соединять рушащиеся стены приходилось железной скрепой, не щадящей ни людей, ни цветов, ни роц.

Лев – символ воскрешения Христа. Он же – символ антихриста. Львиный хлеб – тело Христово, знак святого Причастия. Он же – символ мучеников-христиан, бросаемых на арену на съедение львам под восторженные крики римской черни.

*Поселиться в лесной избушке
С кудесником-петухом,
Чтоб не знать, как боровы-пушки
Изрыгают чугунный гром...*

.....
*Будет месяц, как слёзка, светел,
От росы чернобыльник сед,
Но в ночи кукарекает петел,
Как назад две тысячи лет.*

*Вспыхнет сердце — костёр привратный,
Озаряя Терновый лик...
Римский век багряно-булатный
Гладиаторский множит крик.*

*И не слышна слеза Петрова —
Огневая моя слеза...
Осыпается Бога-Слова
Живоносная бирюза.*

*Нет иглы для низки и нити
Победительных чистых риз...
О, распните меня, распните,
Как Петра, головою вниз!*

“Головою вниз” распять себя испрашивал апостол Пётр, ибо знал, что недостойн распинаться, как его Учитель, — трижды отрекся он от Христа во дворце Каиафы, слыша вокруг себя крики — “И ты был с Ним”... И свою вину — пусть невольную — не может избыть Ключев, благословлявший революцию, как возрождение Святой Руси, воплотившейся в огненном лике и Христовых ранах — и обернувшейся “железной пятой”...

“Неославянофильской книгой” назвал через много лет “Львиный хлеб” Борис Филиппов. Точнее было бы назвать эту книгу “евразийской”, но и это определение не исчерпает её смысла. Кажется, на первый взгляд, что соединение России и Востока, России и Африки, России и Западного полушария в ней созвучно самой идее мировой революции — пусть в ключевском “духовном” восприятии. “От Бухар до лопского чума полыхает кумачный май...” “Там Бомбеем и Ладогой веющей притаился мамин платок...” “Прозвенеть тальянкой в Сиаме, подивить трепаком Каир, в расписном бизоньем вигваме новолодожский править пир...” “И стихом в родном самоваре закипает озеро Чад...” Подобные строки можно приводить до бесконечности. Но они мало что объяснят вне контекста движущихся ключевских смыслов. А смыслы эти раскрываются одновременно с раскрытием прошлых эпох Вечной Руси (“Как и при Рюрике, ныне много полюдных дорог: в Индию, в сказку, в ковригу (горестен гусельный кус!), помнит татарское иго в красном углу Деисус”), обращённой в будущее.

Хочешь — не хочешь, а вспомнишь Достоевского и его упования: “Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспевания, а напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические способности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо осенит собой счастливую землю...” Это идеальное начертание грядущей земной гармонии скорректировал в “Философии общего дела” Николай Фёдоров: “Но пока не совершилось это объединение, мы, молясь о всеобщем соединении, можем, без нарушения католического характера церкви, молиться и о христолюбивом крейсерстве, если оно останется верным своему долгу, о священных путях к Памиру, могиле праотца, и к другим прародинам, так как эти пути, — вместе с тем и средства к освобождению Китая и Индии; мы можем молиться и вообще о всех средствах к обезопасению от Англии и к обращению ея на путь всеобщего долга... Как мелки и ничтожны те причины, которые разделяют нас ныне, и как глубоки и велики те, что могут и должны соединить нас!.. А если бы такой союз состоялся, то все другие народы волею или, сначала, и неволею, присоединились бы к нему. Магометанский Восток, окружённый со всех сторон христианами, вступая в храм, оставит оружие; и дальний Восток, освобождённый от антихристианского давления, вступит в единение с принявшими на себя долг воскрешения, и, вместо nirваны, разделит с ними этот долг. Тогда можно будет сказать, что литургия оглашенных уже кончилась, оглашенные сделались верными, третья часть литургии, литургия вер-

ных, начинается, т. е. наступает третий день воскресения. Необходимо заметить, что и об отношениях всех народов к друг другу вообще, и о наших отношениях ко всем другим народам в особенности, можно также сказать, что причины нас разделяющие мелки и ничтожны, причины же, которые должны вести к нашему соединению, велики и глубокои...”

И кажется поначалу, что Клюев, прозревая грядущее, вторит этим заветным словам своего любимого философа:

*Выстроит Садко Избу соборную,
Подружит Верхарна с Кривополеновой
И обрядит Ливерпуль, Каабу узорную
В каргопольскую рубаху с пряжкой эбеновой.*

Лишнее говорить, что не в наряде суть. В соответствии наряда и нутра. И Садко здесь всё же отсылает к эпохе дохристианской.

И Достоевский, и Фёдоров, каждый по-своему, предугадывали наступления идеального будущего, “когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся” здесь, на этой земле, сохраняющей свою устойчивость и природную конфигурацию. Но то, что происходит у Клюева, при кажущемся смысловом созвучии с предшественниками, помещается далеко за рамками обычного земного восприятия.

“Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвёл меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это...” Книга пророка Иезекииля не просто отразилась в строках Клюева, созерцающего страшные последствия нового нашествия “римского века багряно-булатного”. Там, где “поле усеянное костями, черепами с беззубою зевотой” — не оживут кости после того, как “в рязанских хатах променяли на манишку ржаные Дамаски” и, как следствие, — всё мироздание заволочло смертной тенью... “На камне могильном старуха-свобода из саванов вяжет крошечные сети...” Никакое позднейшее умозаключение, никакой позднейший поэтический образ не будет точнее в определении внешней свободы, как порога ада для человеческого существа. “Над мёртвою степью безликое что-то роило безумие, тьму, пустоту...” Слишком многое здесь предчувствуется и предсказывается — и глобальные человекоубийства “во имя свободы” на протяжении всего XX столетия, и то “всеземное кипение”, следствие которого — новое небо и новая земля. “У порога избы моей моей стража осьмикрылый. О, поверьте, то не сказка, не слова построчные!...” Явление “стража осьмикрылого” — лишь предвестие вселенской катастрофы, смещения земной оси, нового пришествия титанов, обновления земной жизни.

*Дарья с Вавилом качают Монблан,
Каменный корень упрям и скрипуч...
Встал Непомерный, звездистый от ран,
К бездне примерить пылающий ключ.*

*Чу! За божницею рыкают львы,
В старой бадье разыгрались киты...
Ждите обвала — утёсной молвы,
Каменных песен из бездн красоты!*

То, что сохранила в человеческой памяти древняя мифология, оживает на наших глазах — и львы библейские, и киты, что держали веками землю на своих спинах. Что до “утёсной молвы”, то она лишь предвестие всесветного переворота.

Ибо нет душевного покоя, растворения в красоте земной — в железной современности, ломающей души, истребляющей жизни.

Ибо свершается то, о чём два с половиной столетия назад говорили и писали несгибаемые староверы.

“А о последнем антихристе не блазнитесь, — ещё он, последний чорт, не бывал: нынешняя бояре ево комнатная, ближняя дружба, возятся, яко беси,

путь ему подстилают, и имя Христово выгоняют. Да как вычистят везде, так Илия и Енох, обличители, прежде будут, потом аньтихрист во свое ему время. А тайна уже давно делается беззакония, да как распухнет, так и треснет. Ещё после никониян чаем поправления о Христе Иусе, Господе нашем” (Протопоп Аввакум. “Послание братии на всем лице земном”).

*Псалтырь царя Алексия,
В страницах убрusy, кутья,
Неприкаянная Россия
По уставам бродит кряхтя.*

*Изодрана душегрейка,
Опальный треплется плат...*

Мнится наступление нового никонианства, “железный неугомон” разрывает слух, и сами по себе встают неумолимые вопросы: “Не заморскую ль нечисть в банке отмывает тишайший царь? Не сжигают ли Аввакума под вороний несметный грай?...” Нет, тайна беззакония свершается далее и по-новому — никонианство отвергается вместе со староверием, “штурм небес” набирает силу, и вскрытие мощей — свидетельство тому... “От Бухар до лопского чума полыхает кумачный май...” Но за “кумачным маем” открывается Клюеву картина мира дохристианского, омытого катаклизмами и начинающего своё новое бытие.

*В лучезарье звёздного сева,
Как чреватый колос браздам,
Наготовю сияет Ева,
Улыбаясь юным мирам.*

Эти юные миры поэт прозревает после своей грядущей кончины.

*Пржевальский в жёлтом Памире
Видел рельсы — прах тысячелетий...
Грянет час, и к мужицкой лире
Припадут пролетарские дети,*

*Упьются озимью, солодьягой,
Подлавочной ласковой сонатой!..
Уж загрезил пасмурный Чикаго
О коньке над пудожскою хатой,*

*О свадебном соловейком чине
С подблюдными славами, хвалами...
Над Багдадом по моей кончине
Заширяют ангелы крылами.*

*И помянут пляскою дервиши
Сердце-розу, смятую в Нарыме,
А старуха-критика запишет
В поминанье горестное имя.*

Здесь уже поражают не столько “рельсы — прах тысячелетий” и даже не пророчество о своей смерти в Нарыме, сколько то, что в последний путь поэта проводят “дервиши” и помянут его взмахом крыльев ангелы “над Багдадом”... Речь идёт о суфиях, поэзия которых была чрезвычайно популярна у поэтов “серебряного века”... Достаточно вспомнить “кружок гафизитов”, организованный Вячеславом Ивановым, для которого поэзия Гафиза служила своеобразной связью с мистической восточной традицией. Для Клюева же суфизм наполнялся отнюдь не “игровым” смыслом.

Ему хорошо была знакома книга Инайят-хана, профессора, прошедшего суфийскую школу и посетившего Россию перед первой мировой войной — “Су-

фийское послание о свободе духа”, вышедшая в Москве в 1914 году. “Суфизм, – писал Инайят-хан, – это религиозная философия любви, гармонии и красоты”, а, касаясь своего “введения в суфизм”, выражал надежду, что “оно поможет установлению добрых отношений между отдельными людьми и дружеского взаимопонимания между целыми народами, ибо суфизм совмещает в себе веру и набожность Востока со здравым смыслом и логикой, характерными для Запада”. . . Это не могло не вызвать ответного посыла у Клюева и, подобно тому, как Иайят-хан писал о музыке (“Будучи высшим из искусств, она поднимает душу до высочайших областей духа. Будучи сама по себе невидима, она скорее достигает невидимых областей”), – Клюев впервые и единственный раз использовал в стихах “Львиного хлеба” музыкальные ноты, как знаки незримого мира, как звуки, идущие из “невидимой Руси”: “Мир очей, острова из улыбок и горы из слов, баобабы, смоковницы, кедры из нот: Фа и Ля на вершинах, и в мякоть плодов ненасытные зубы вонзает народ. . .” “Огневое Фа – плащ багряный, завернулася в него судьба. . . Гамма Соль осталась на раны песнолюбящего раба. . .” И не мог Клюев не радоваться, читая у Инайят-хана: “Сердце человека есть Престол Божий. . . Дыхание поддерживает связь между телом, сердцем и душой. Оно состоит из астральных колебаний и оказывает большое влияние на физическое и духовное развитие. Поэтому первое дело суфия – очищение сердца, чтобы привести в состояние гармонии всё своё существо”. . . Отсюда – и “сердце – роза, смятая в Нарыме”, и грядущий трактат “Очищение сердца”, что писался уже в самом Нарыме незадолго до кончины. Отсюда же – предвкушение полного перенастроя русской лиры после вселенской катастрофы, когда поменяются полюса земли: “Гулы в ковриге. . . То стадо слонов дебри пшеничные топчет пятой. . . Ждите самумных арабских стихов, пляски смоковниц под ярой луной!” И, наконец, сакральный танец, которым дервиши поминают поэта, – действие, облегчающее уходящему переход в иной мир. И десять лет спустя в “Песни о великой матери” Клюев опишет проводы своей родительницы “старцами с Востока”:

*Ещё поминками зимы
Горел снежок на дне оврагов,
Когда дорогой звездных магов
К нам гости дивные пришли,
Три старца — Перския земли.
Они по виду тазовляне,
Не черемисы, не зыряне,
Шафран на лицах, а по речи —
Как звон поленницы из печи.*

И их приход не смутил Святого Георгия, что сошёл с иконы для последней молитвы над праведницей.

*Весь в чешуе кольчуги бранной
Сошёл с божницы друг желанный
И рядом с мученицей встал,
Чтоб положить скитской начал
Перед отплытьем в путь далёкий.
Запели суфии: “Иокки!
Чамадаран, эхма-цан-цан!..”
Проплыл видений караван:
Неведомые города
И пилигримами года
В покровых шелестных, с клюками,
И зорькой улыбался маме
То-светный Божий Цареград...*

В холодной же и жестокой современности подобные срывы в “восточный оазис”, как “вечный приют”, были чреваты таким самоотречением, последствия которого непредсказуемы. Оскал дьявола мелькал в этом оазисе – и Клюев прозревал и его.

“Тридцать три года, тридцать три”, – это дудка няни-зари, моей старой подруги...” Тридцать семь было на самом деле, но возраст Христа казался убедительнее – в контексте дальнейшего восточного кошмара, в который отправляется поэт.

*Питомец деда-Онега
Отведал Львиного Хлеба!
Прощайте, изба, телега —
Моя родная потреба!
Лечу на крыльях самума —
Коршуна, чьё яйцо Россия,
В персты арабского Юма,
В огни и флейты степные!
Свялю у ворот Судана
Вязанку стихов овинных...
Олонецкого баяна
Возлюбят в шатрах пустынных.*

И чем же закончится эта “любовь”?

*Здравствуй, шкипер из преисподней!
Я — кит с гарпуном в лапу,
Зову на пир новогодний
Дьяволицу-красоту!
Нам любо сосать в обнимку
Прогорклый собственный хвост,
Пока и нашу заимку
Хлестнёт пургою погост.*

Это уже переосмысление старинного предания, хорошо известного на Руси, о дьяволе, что принял обличие змея, совокупляется с женщинами-ведьмами... А совокупление раненого кита с дьяволицей-красотой на горячем Востоке, который готов быть захлестнутым пургою, в то время, как южные плоды вырастут и газели очи заблестят в “северном раю” – лишний знак всей inferнальности происходящего, что грозит ещё большей невероятностью грядущего.

Поистине такие видения уже не покажутся чрезмерными рядом с характеристикой создаваемой книги:

*“Львиный хлеб” — плакучая ива
С анчарным ядом в стволе.*

(Продолжение следует)